

«Небывалая литература», или О вреде творчества: Гаспаров о Бахтине

П. Н. ТОЛСТОГУЗОВ

Эта статья возникла как соединение двух текстов: моей реплики на доклад М. Л. Гаспарова «История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина» (2004)¹, прозвучавшей на заседании семинара «Третье литературоведение» в 2008 году, и разбора доклада, а также некоторых реакций на него в учебном пособии «Литературоведческая дискуссия: метод и стиль»². Есть и прибавления. Кроме того, в этой статье я предпринимаю сознательную, но, возможно, напрасную попытку «диалогически» подняться над собственной позицией. Напрасную, потому что, как мне кажется, самый пристрастный монолог диалогичнее по своей природе, чем любая продуманная речевая вертлявость. И тем не менее.

Первая моя реакция на доклад Гаспарова была эмоциональной: я уловил общий гаспаровский пафос и ответил на него также пафосом и лишь потом вчитался в детали и сильно удивился (чему — об этом ниже). Мой первоначальный ответный пафос заключался в том, что противопоставление творчества и исследования, коренное для Гаспарова, имеет схоластический и даже подчас какой-то изуверский характер³. Творчество создаёт небывалые объекты (в том числе «небывалую литературу»), а исследование избегает деформации объектов (это было сформулировано ещё в первой статье Гаспарова о Бахтине, вышедшей в 1979 г. в Тарту). Иными словами, принимаясь за «бывалые» объекты, творчество их безусловно деформирует. При этом любое прочтение, которое будет заинтересовано в том, чтобы понять *тексты*, а не отдельные *слова*, окажется под подозрением в творчестве. Бахтин у Гаспарова оказывается таким увлечённым деформатором, творчество которого было инспирировано, во-первых, давно утратившим актуальность ренессансным настроением 1920-х годов и, во-вторых, безбрежным солипсизмом самого творца («До чего нужно было довести человека, чтобы он, как солипсист, создал из себя иной мир в замену сущего, иную литературу в замену

¹ Впервые: *Гаспаров М. Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина* // Русская литература XX — XXI веков: Проблемы теории и методологии изучения: Материалы международной научной конференции. М., 2004.

² См.: *Третье литературоведение*. Материалы филолого-методологического семинара. Уфа: Вагант, 2009; *Литературоведческая дискуссия: метод и стиль*. По материалам аспирантского семинара. / Учебное пособие. Биробиджан: изд-во ДВГСГА, 2009. Так получилось, что первоначально мне оказались известны реакции заочных участников семинара Н. Л. Васильева и Ю. Б. Орлицкого. Во время подготовки собственных откликов и этой статьи я познакомился ещё с несколькими позициями и, в частности, с точкой зрения С. Г. Бочарова (оказавшейся очень близкой для меня), Кэрил Эмерсон (слишком оговорочной при ясном понимании проблемы Гаспарова; ведь именно о победе над смертью должна идти речь в конечном счёте) и И. А. Есаулова.

³ Речь идёт именно о докладе, потому что в тартуской статье 1979 года этого изуверства ещё нет. Интересный момент: обычно временная дистанция делает позицию полемиста более взвешенной, но здесь так не случилось. Четверть века, прошедшая с конца 1970-х годов, когда обсуждение бахтинского наследия было злободневным, не только не притушила эмоции Гаспарова, но даже взвинтила их. Не случайно один из апологетов гаспаровского понимания «научности» (В. Сонькин) в статье-эпиграфии назвал его критику «лютотой», оттолкнувшись при этом, впрочем, от любимого выражения самого покойного учёного.

общеизвестной!»).

Та критика Гаспарова, которая содержит не только хлёсткие оценки бахтинского наследия, но и в какой-то мере обращена к текстам Бахтина, сосредоточена в основном на концепции менипповой сатиры, или мениппеи. Я не хотел бы сейчас наскоро разбираться в том, прав или неправ был Бахтин, генерализуя мениппову сатиру как некий сверхжанр, а желал бы просто обсудить справедливость *конкретных* возражений и замечаний Гаспарова относительно *текста* Бахтина и в этом, и в других случаях, нисколько не ставя при этом под сомнение замечательную осведомлённость полемиста в предмете. А то ведь можно сколько угодно говорить о мировоззренческих недоразумениях между сторонниками Бахтина и сторонниками Гаспарова и об истоках этих недоразумений, как это делает Кэрил Эмерсон⁴, но при этом всячески избегать разговора об изначальном фактическом содержании этой односторонней полемики.

Итак, Гаспаров говорит: «В “Проблемах поэтики Достоевского” перечисляются 14 признаков мениппеи; и ни один из них не встречается во всех без исключения образцах мениппеи, упоминаемых Бахтиным». *Комментарий*. А разве Бахтин где-нибудь говорит о том, что все 14 признаков непременно должны быть на месте в каждом разбираемом примере? Нет, он часто говорит об «элементах мениппеи», как в случае с Горацием. См.: «Элементы “Менипповой сатиры” мы находим в некоторых разновидностях “греческого романа”, в античном утопическом романе, в римской сатире (у Луцилия и Горация)». Пример с Горацием среди прочего также вызывает критику Гаспарова, но — обсудим всё по порядку. Гаспаров говорит: «Мениппея — это “смех”, но у Боэция нет ничего смешного; мениппея — это “злободневность”, но у Апулея нет ничего злободневного; “трусобного натурализма” нет в “Апоколокинтосисе”, “фантастической точки зрения” нет в сатирах Горация и т. д.». *Комментарий*. У Бахтина *нет речи* о том, чтобы в каждом из упомянутых текстов присутствовали именно эти свойства, но всё же присмотримся и к самому Бахтину, и к античным текстам: вдруг и там не всё так однозначно, как это предстаёт у Гаспарова.

Смотрим первый признак у Бахтина: «По сравнению с “сократическим диалогом” в мениппее в общем увеличивается удельный вес смехового элемента, хотя он значительно колеблется по разным разновидностям этого гибкого жанра: смеховой элемент очень велик, например, у Варрона и исчезает, точнее, редуцируется у Боэция» (здесь же в сноске автор объясняет, что он понимает под выражением «редуцированный смех»: он «не звучит»)⁵. Итак, Гаспаров повторяет принципиальную оговорку Бахтина о редукции смеха у Боэция, но не упоминает о ней, а говорит об отсутствии явленного смеха у Боэция так, как если бы Бахтин утверждал обратное. Что это, если не умышленная утрировка (самое дипломатичное из возможных здесь выражений)?

Теперь об утверждении «у Апулея нет ничего злободневного». У Бахтина в этом пункте (14-м по счёту) о «злободневной публицистичности» в сатирах Лукиана, в романах Петрония и Апулея среди прочего сказано: «полны аллюзий на большие и маленькие события эпохи, нащупывают новые тенденции в развитии бытовой жизни, показывают нарождающиеся социальные типы во всех слоях общества и т. п.», им присуща «фельетонность»⁶. Сам М. Л. Гаспаров, давая развёрнутую характеристику Апулею в «Истории всемирной литературы», пишет

⁴ Эмерсон К. Двадцать пять лет спустя: Гаспаров о Бахтине // Вопросы литературы. 2006. № 2.

⁵ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 4-е. М.: Сов. Россия, 1979. С. 131.

о «бытовой натуралистичности образов», «профессионализмах» в языке романа, о характеристиках социальных типов, данных у Апулея «насмешливо, кратко и броско»⁷. Нетрудно увидеть, что с позиции и жанра, и языка здесь говорится о том же самом.

Далее: «“трущобного натурализма” нет в “Апоколокинтосисе”» («Отыскание» Сенеки). Если прилюдное (как в харчевне) испускание желудочных газов, разлетание во все стороны экскрементов, заушения, кнут и палки⁸ не являются приметами античного и любого другого трущобного натурализма, то что ими является? Ещё далее о Горации: «“фантастической точки зрения” нет в сатирах Горация». Возможно, и сам Бахтин отчасти согласился бы с этим, ведь он и не настаивал на таком утверждении. Он, скорее всего, имел в виду характерную «площадную» обстановку в некоторых сатирах: «Флейтистки, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные» (Сатиры: I, 2). Но и полностью исключать элемент «фантастической точки зрения» у Горация также не приходится. Например, он очевиден в восьмой сатире (книга первая), где болван Приапа предстаёт как наблюдатель ночных непотребств на Эскилиевских холмах: колдовства и вызывания подземных духов (одно из проявлений необычной точки зрения — возможность видеть то, что, как правило, скрыто от глаз посторонних).

После таких утверждений, которые не основываются ни на Бахтине, ни на историках⁹, полемист делает странное заявление: «в сознании носителей европейской культуры такой всеобъемлющей традиции (мениппейной, содержащей *spoudogeloion*, т. е. серьёзно-смешное — П. Т.) никогда не существовало». Во-первых, здесь непонятна сама генерализация: о каких «носителях европейской культуры» идёт речь? У Бахтина нет ни одного места, где бы он настаивал на присутствии в «сознании» неких условных «носителей европейской культуры» мениппейной традиции. Предположим всё же, что эти «носители» есть: ясно же, что только после Бахтина и его работ такая «всеобъемлющая» традиция, коренящаяся как в почве, так и в подпочве культуры, могла быть актуализирована в их сознании, не раньше и не позже. С другой стороны, не хочет ли Гаспаров сказать, что *spoudogeloion* как хорошо известный принцип, регулирующий литературное и внелитературное поведение в античности, средние века и новое время, тоже придумал Бахтин? Вряд ли, потому что Гаспаров знает того же Диогена Лаэртского (например, его рассказы о киниках Бионе Борисфените и Мониме, в которых этот принцип эксплицирован) и хорошо знает о его влиянии на поколения «носителей европейской культуры». Забывчивость? ещё раз вряд ли. См.: «Эрудития Гаспарова, запас сведений, которые он держал в памяти, были столь колоссальны, что даже его работы не способны дать об этом полное представление» (Л. Г. Фризман). За что же он тогда предьявляет счёт? Представляется, что Гаспаров и не собирается входить в логику Бахтина и доказательно осуществлять ревизию его аргументов, а просто окарикатуривает его в каких-то своих целях (всё, мол, чего ни коснись, у этого чудака оказывается «мениппеей»).

⁶ Указ. соч. С. 136.

⁷ *История всемирной литературы*. В 9 тт. Т. 1. М.: Наука, 1983. С. 498.

⁸ См.: «Издан он громкий звук тою частью, которой легче всего говорил он, и последнее его слово было при жизни: ‘Ай-яй! Кажись, несчастье со мною случилось!’ Ну, так или не так — доподлинно не знаю; только всех и все он обгадил достаточно»; «Тут откуда ни возьмись — Калигула: требует Клавдия себе в рабы; свидетелей приводит, как он его, Клавдия то есть, кнутом и палкой бил и плюхами кормил». И т. п.

⁹ Поэтому я против метафоры, придуманной К. Эмерсон: допрос с пристрастием («учиненный Гаспаровым Бахтину допрос с пристрастием»). Допрос, как и вопрос, обращён к наличному, а этого у Гаспарова как раз нет. Пристрастие — это да, этого здесь сколько угодно.

Ещё один гаспаровский пассаж касается Аристофана. «Он (Бахтин — П. Т.) *равнодушен к аттической комедии* (здесь и далее курсив мой — П. Т.) — а уж не ее ли агоньи полны бахтинского диалогизма! — *равнодушен к такому карнавальному писателю, как Аристофан (и даже нарочно отмежевывает его от Рабле в «Формах времени и хронотона в романе»)* — потому что Аристофан слишком политизирован, слишком целенаправленно-сатиричен, слишком нехаотичен, а в конечном счете просто потому, что он существует — как текст, а не как домьсел». А теперь вернёмся к Бахтину. Аристофан несколько раз упоминается в «Формах времени...», причём очень последовательно и в принципиальном смысле, и эти упоминания далеки от «равнодушия»: в частности, речь у Бахтина идёт о том, что «у Аристофана мы явственно видим еще культовую основу комического образа и видим, как на нее наслаиваются бытовые краски, еще настолько прозрачные, что основа просвечивает через них и преображает их. Такой образ легко сочетается с острой политической и философской (мировоззренческой) актуальностью, не становясь при этом мимолетно-злободневным. Такой преображенный быт не может сковать фантастики и не может снизить глубокой проблематики и идейности образов». При чём здесь равнодушие? Ещё цитата: «В произведении Рабле прямое влияние Аристофана сочетается с глубоким внутренним средством (по линии доклассового фольклора)». При чём здесь «отмежевывание»? Об античных (и, в частности, аристофановских) агонях Бахтин специально пишет в «Творчестве Франсуа Рабле...» как о форме карнавального диалогизма. Правда, в сн. 59 в «Творчестве Франсуа Рабле...» речь идёт о том, что прямое влияние Аристофана в «Гаргантюа и Пантагрюэле» ощущается очень слабо, более ничего. Это и стало поводом для такой оценки, как «нарочно отмежевывает»? Контраст повода и оценки слишком очевиден. Где хваленая точность и взыскуемая полемистом филологическая ответственность? Их здесь нет.

«Это и уводит его внимание из реальной словесности в доначальную, воображаемую, где еще ничто не решено — в конечном счете, в романтический фантазм идеального пранародного творчества. Которое, впрочем, несмотря на эту доначальность, будто бы непосредственно влияет на Рабле больше, чем Аристофан». Выходит, Гаспаров понимает «доначальное» как когда-то бывшее и переставшее существовать? Воистину интересный взгляд на архетипическое. Т. е. «доначальное» роди «начальное», то роди Аристофана, Аристофан роди Рабле? Мысль о том, что «доначальное» может быть всегда с человеком и быть при этом иногда гораздо актуальнее, чем литературные влияния, не вмещается? Очень похоже на, простите, студенческую логику. Интересно, что сказал бы автор доклада о книге О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» — что это тоже «романтический фантазм»? А ведь там о всяком долитературном и его влиянии на литературу сказано хоть и с другой стороны, но даже более резко, чем у Бахтина! И ведь те же «ренессансные» 20-е годы! Но Фрейденберг не следует трогать, ведь она «фольклорист», хоть и прежний, а Бахтин «философ», а «философы» играют с «пустотой», и, значит, с ними можно обойтись как с безответственными мечтателями, если не мистификаторами (учтём намеренное упоминание Гаспаровым «Краледворской рукописи»).

Ещё случай подмены — рассуждение о Гомере, эпосе и романе. «Сквозь мертвый текст он хочет видеть живого человека с его интенциями и интонациями — так герои Щедрина писали в гимназии сочинение “Гомер как поэт, человек и гражданин”». С первой частью характеристики в норме согласятся все, а вторая

нужна, чтобы «все» брезгливо отшатнулись от собственной позиции. В первой части есть Бахтин, во второй его нет, но между «есть» и «нет» стоит тире и слово «так», т. е. ставится знак равенства между герменевтическим усилием исследователя и заведомо пустыми и смехотворными делами и привычками «героев Щедрина». Основание? Из-за отсутствия разъяснений со стороны Гаспарова приходится понимать это уравнение единственным не самым обидным для него способом: к слову пришлось...

Далее: «Вообразить такого Гомера Бахтин всё-таки не мог и поэтому отрицал эпос вообще. Он отвергал поэзию во имя прозы и эпос во имя романа — почему?» Невозможно в наследии Бахтина найти ни общее, ни частное «отрицание» эпоса. Да и что это вообще — такое вот «отрицание», как оно может выглядеть? Любой читавший Бахтина, а не просто как-то ориентирующийся в расхожих «бахтинизмах» или «трюизмах Бахтина» (Эмерсон) скажет, что это противоречит фактам. Бахтин не замечает «существующей» литературы! а как же он заметил Достоевского? Читал ли Гаспаров Бахтина? Конечно, читал. Возможно, очень внимательно. Читал и сделал выводы из личного отношения к тексту, а не из самого текста — это тоже так.

Подчас логика докладчика просто вызывает к пародии: «Почему Бахтин не замечает “Было и дум” Герцена? Вероятно, потому же, что это книга уже существующая». Представим себе пародийную версию этого рассуждения: «Почему Бахтин всё же заметил “Жизнеописания” Плутарха и, например, «Обломова», а также многие другие существующие книги, входящие в разряд “общеизвестной и общепризнанной литературы”? Вероятно, потому, что он хотел взглянуть на них как на “альтернативную литературу”». И т. п.

Автор доклада увлечённо делает выводы о Бахтине, исходя из собственных вполне умозрительных конструкций «Бахтин — сочинитель», «хаос — упорядоченность», «дона начальная воображаемая словесность — реальная словесность», «нелюбовь к существующей литературе» и т. д. Невозможно отделаться от чувства: Гаспаров говорит и пишет о Бахтине так, как, по его собственному предположению, работал Бахтин: всматриваясь в дорогую ему пустоту и приписывая Бахтину то, что он сам привёл в соответствие со своим «властным пониманием».

Теперь обратимся к выводам, с которых Гаспаров начинает и которыми он заканчивает. Академик не в первый раз обращался к теме «Бахтин и филология», из чего следует, что его позиция — отстоявшаяся во времени. Достоинством такой позиции следует считать её полную внятность: Бахтин не является филологом, т. е. исследователем, он является философом, т. е. творцом. При этом сказано, что исследование упрощает картину мира, а творчество её усложняет. Эти тезисы никак не аргументируются, и поэтому их следует принять как аксиоматические, заведомо истинные, как нечто общеизвестное, с чем никому не придёт в голову спорить. Автор тезисов идёт ещё дальше, он пишет: «Философ в роли филолога остается творческой натурой, но проявляет он ее очень необычным образом. Он сочиняет новую литературу, как философ — новую систему». Т. е. филолог имеет дело с фактами, тогда как философ — с чистыми и необязательными (всмотримся в глагол «сочиняет» и припомним его неизбежные и явно учтённые Гаспаровым коннотации) мыслительными конструкциями.

Так ли это? С. Г. Бочаров в статье «Бахтин-филолог: книга о Достоевском», говоря о намеренной резкости автора доклада, вежливо спрашивает: не чересчур ли?¹⁰ Оставим пока в стороне мотивы М. Л. Гаспарова и рассмотрим в его риторике. Начальный тезис о философии и филологии подан, как уже было сказа-

но, как не нуждающийся в доказательствах. Разумеется, это не так. Дело в том, что с помощью убедительных исторических примеров можно изобрести не менее «самоочевидный» противоположный тезис: о том, что, напротив, философия на протяжении тысячелетий сохраняет принцип системности и теоретичности, тогда как филология склоняется то к риторическим практикам, то к служебной герменевтике, то к чему-то ещё, с трудом подпадающему под понятие научности или вовсе под него не подпадающему. Можно было бы объяснить всё проще: есть по преимуществу концептуалисты и есть по преимуществу эмпирики, и Бахтин был первым, а Гаспаров вторым; но Бахтин не начинал по этому простому и понятному поводу баталий, растягивающихся на четверть века (его полемика с формалистами и их последователями имела именно концептуальный характер), а Гаспаров начал.

В первом своём отклике на доклад Гаспарова я написал: «Впрочем, я понимаю настроение “шестидесятников” в отношении бахтинского культа. Они выстрадали свой *честный* позитивизм, противопоставленный догматизму советской эпохи и, в режиме переноса, всяческому догматизму. Но эта честность, понятная как исторический мотив, обусловила специфическую узость их взгляда на вещи. Причем это касается отнюдь не только Бахтина и околобахтинской “черни” (такая “чернь” проявляет себя рядом с ярким явлением почти автоматически, как активность дождевых червей после дождя). Речь должна идти о неприятии теоретического подхода как созерцания, включающего ценностную установку или, выражаясь по-бахтински, установку на “не-алиби в бытии”. Нас в конце 70 — начале 80-х бахтинская свобода мышления окрылила, и я не отдам эту свободу и эту окрылённость ни за какой филологический пуританизм».

Сейчас мне эта реплика кажется недостаточной, слишком пафосной, по-гаспаровски личной и чересчур «историчной». В самом деле: Гаспаров объяснял Бахтина «ренессансом» 20-х, а я пытаюсь объяснить самого Гаспарова специфической «честностью» 60-х — и в этом объективизме как-то ускользают личности. А ведь в выпадах Гаспарова, на что часто обращают внимание, есть много демонстративно личного. Почему научная точность и взвешенность суждений, бывшие визитной карточкой Гаспарова как учёного, изменили ему в этом случае так бесповоротно? Среди гаспаровских миниатюр под названием «Записи и выписки» есть такая: «Нет казни больше, чем судить» (со ссылкой на «притчу Ремизова»). Внимание к этим словам свидетельствует о том, что Гаспаров понимал, что увлечение судом не проходит бесследно и что если это увлечение сознательное, оно является актом демонстративного самозаклания.

Внимание к этим же (и им подобным) словам свидетельствует также о любви и вкусе к парадоксам, которые, если освободить их от литературной упаковки, суть базаровское «противоположное общее место». Сейчас мне не столь уж давний доклад полемиста представляется таким развёрнутым обратным общим местом, которое создано с той же целью, с какой создаются все такие места: использовать смысловую энергию источника для противоположного действия. Мотивы при этом могли быть или казаться самыми чистыми, а исторические предпосылки более чем весомыми, но содержание действия от этого не меняется. Итак, «индустрия Бахтина» (Эмерсон или кто-то ещё) очень легко оказывается индустрией антибахтинизма, но при этом не перестаёт быть индустрией.

¹⁰ Вопросы литературы. 2006. № 2.